

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

20 октября 1941 г.

Вельфлит, Массачусетс

Дорогой Владимир: Только что прочитал «Севастьяна Найта», корректуру которого мне прислал Локлин[1], — и совершенно им очарован. Поразительно, что Вы пишете такую замечательную английскую прозу и в то же время не походите ни на какого другого английского писателя, но делаете все по-своему, да еще так тонко и основательно. Кроме Вас и Конрада нет, наверное, других иностранцев, которые достигли бы такого литературного уровня по-английски. Книга вся сплошь отличная, превосходно сочиненная, но особенно мне понравились главы, где он разыскивает всех этих русских женщин, потом описание книги о смерти, и когда в конце он едет на поезде, как бы во сне (и еще длинный сон повествователя). Мне теперь хочется прочитать и русские Ваши книги, и я попытаюсь их осилить, когда мой русский язык[2] немного окрепнет [...].

Эдмунд Вильсон[3] ул. Аппельби, 19

21 октября 1941 г.

Вельзлей, Массачусетс

Дорогой Эдмунд[4],

Дух Севастьяна отвечает Вам **земной поклонъ**[5]. Очень рад, что Вам понравилась эта книжица. Кажется, я говорил Вам, что написал ее пять лет тому назад[6] в Париже, где письменным столом мне служило приспособление, именуемое **bidet**[7], — потому что мы жили в одной комнате и мне приходилось превращать нашу маленькую ванную в рабочий кабинет [...].

Ваш В.Набоков

*[Дописываю] после Вашего телефона. Нет — за вычетом мимолетного упоминания шахматной игры в одной главе, «в развитии всей книги» **нет** никакой «шахматной идеи»[\[8\]](#). Звучит заманчиво, но чего нет, того нет.*

[Окончание рекламного предуведомления Вильсона на обложке первого издания романа:]

«Внимательного читателя ждет [...] особенного рода сюрприз, раскрыть который было бы нечестно по отношению к автору».

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

«Иногда я говорю себе, что ее не так уж трудно было бы перевести на русский язык», — пишет В. о последней книге Севастьяна Найта, в которой сведены все предыдущие его книги и в которой содержится загадочная разгадка секрета всего романа, всей «истинной жизни».

Около двадцати лет тому назад вдова Набокова попросила меня взяться за перевод «Ады» на русский язык. Я колебался: дело это казалось мне безпримерно трудным. Однако по размышлении я предложил некоторые необычные меры, например оставить в этой трехязычной книге некоторую часть неудобопереводимого английского текста непереведенной — подобно тому как в оригинале оставлены без перевода многие русские **jeux d'esprit** и **de mots**, и послал на ее усмотрение две или три главки из середины книги. Она нашла, что перевод мой неудачен, и решила отказаться от самой мысли переводить «Аду» на русский язык. В отношении моей пробной попытки она была права, там было много неловкой акробатики, которую можно было принять за своевольную отсебятину. Но вскоре после этого я начал переводить «Севастьяна Найта», не помню теперь, по ее предложению или по моему, пытаюсь держаться, как это было при переводе «Пнина», принципа дословной верности подлиннику, но в то же время пользуясь возможностями доступного мне языка гораздо свободнее, чем я это себе там позволил. Мне казалось, что ради верного воспроизведения оттенка смысла и слога в дело годны едва ли не любые подручные средства: так тень собаки на освещенной стене может быть изображена хитросплетением пальцев. И вот я старался переводить «инде слово в слово, инде же умышление во умышление», как сказал король Альфред. И так как на русский язык переводилось английское сочинение русского писателя, мне хотелось выветрить сколько возможно запах операционной, которым почти всегда отдает перевод.

Первая глава была кончена вчерне в 1988 году, но вмешались другие занятия, работа прервалась и по смерти Веры Набоковой не возобновлялась. Тем временем в 1990-е годы в Москве стали вкривь и вкось издавать сочинения Набокова, в том числе два или три переложения

этой книги[9]. Я же, напротив, совсем оставил переводы и обратился к другим занятиям. Но два года тому назад, когда затеялась новая серия изданий Набокова по-русски в «Азбуке» и его сын предложил мне перевести эту книгу заново, я перечитал это старое свое упражнение и остался им скорее доволен[10].

То был первый роман, сочиненный Набоковым по-английски — в декабре 1938-го и январе 1939 года в Париже, в ванной маленькой квартирке на рю де Сайгон, которую он занимал с женой и четырехлетним сыном. Он не был уверен в естественности и даже в правильности своего литературного английского языка и поэтому просил проверить манускрипт Люси Леон Ноель, жену Поля Леона, приятеля Джойса (Набоков не мог, конечно, не обратить внимания на то, что ее девичья и замужняя фамилии образуют палиндром, один из его любимых видов криптографии). Этот манускрипт с ее и своими поправками он взял с собой в Америку, где по нему еще раз прошла одна американская профессорша, после чего книга вышла 18 декабря 1941 года с интересным напутствием Эдмунда Вильсона. Ее тогда почти не заметили, и не только оттого, что Америка как раз в те дни вступила в мировую войну. Впрочем, уже через три недели по выходе книги (и почти день в день через шесть лет по смерти Севастьяна Найта) появилась холодная и плоская рецензия того именно стилистического рода, который невольно наводит на мысль, что ее мог бы сочинить для пародии сам Найт. Впрочем, заканчивается она симпатичным для будущего переводчика предположением: «Быть может эта книга звучала бы интереснее на другом каком-нибудь языке»[11].

В плохо сохранившейся рукописи недостает восьми глав из двадцати. Тем не менее сличение имеющейся рукописи с печатным текстом выявило довольно большое количество важных погрешностей во всех предыдущих изданиях. Несомненные ошибки, как, например, выпущенное или неверно прочтенное при наборе слово, в переводе исправлены и оговорены в примечании; там же упоминаются и другие важнейшие разночтения, а некоторые интересные ранние варианты приводятся в приложении к моему объяснительному очерку в конце этого издания.

Так сошлись обстоятельства, что я переводил третью главу (побег в

Гельсингфорс) в Гельсингфорсе. 24 октября 2005 года я, по своему обыкновению, рано вышел из дому (я поселился в университетской квартире около старого русского военного манежа) и отправился в библиотеку, в версте ходу по прямоколенному маршруту: налево по б. Константиновской, направо по Эстляндской, налево по б. Николаевской, направо по Мирной, налево по Унионской (как ее здесь зовут старые жители), мимо старого русского Троицкого храма, наискосок от которого расположены здания б. Императорского Александровского университета с его знаменитой русской библиотекой. Тут за углом, за оградой во внутреннем дворике, можно увидеть перенесенный сюда с глаз долой массивный медный бюст императора — основателя университета, а в ста шагах, посередине Сенатской площади, на огромном фигурном постаменте стоит его царственный племянник, глядящий поверх сенатских зданий на Финский залив в сторону б. России, в недоумении слегка развода руками, и это выражение недоумения («Ну, знаете...») еще усиливается оттого, что ему на голову то и дело садятся наглые чайки, которых туристы любят фотографировать именно на этом неуместном насесте. По всему городу за ночь развесили огромные, зыблющиеся под легким небельвиндом флаги: синий Андреевский крест на белом фоне, с гербом на перекрестке. Должно быть, большой праздник, думал я, ежась от утреннего холода. Библиотеку еще не отпирали, и я ждал на ступеньках лютеранского кафедрального собора насупротив. Подошла пара: он угрюмого вида, в каракулевой шапке-громышке, она, может быть, его провожатый. Она указала на карниз собора и сказала по-русски: «А вон видите там, с ключом, это св. Петр... раз с ключом, то, значит, св. Петр». Тот посмотрел мельком. В славянской библиотеке было пусто, как обычно по утрам, только один тоже сумрачный гость уткнулся в последний номер «Красной Звезды». Спрашиваю милую заведующую библиотекой, из русских — какой это праздник? Не знает, сама хотела бы узнать. Потом около полудня пошел прогуляться и купить зонтик взамен моего, у которого хлесткий финский дождь с напористым морским ветром за день перед тем выбил ребро. Навстречу пожилая финка катит велосипед наизволок и, поравнявшись, что-то мне говорит. По-английски говорю, что не знаю по-фински. Она улыбнулась и уже по-английски спрашивает **меня**: по какому случаю флаги? Это становилось занятно. Вечером знамена поснимали. У моего дома молодой рабочий как раз спускал одно такое на тросике. Тот же вопрос. Он замялся, «да что-то такое...». Забавная рябь по течению дня сделалась вдруг маленькой завертью: был ли день этот годовщиной замены финской марки общеевропейской ассигнацией, или открытием древнечудской ежегодной

ярмарки салаки, или, может быть, в предпоследний понедельник октября полагается проветривать все государственные флаги в наличии? И это несколько литературное происшествие показалось мне пригодной аналогией: загадочные знамена, о которых знаешь наверное, что они не зря развешаны и нечто значат, но для того, чтобы узнать, что именно, нужно потрудиться поиском.

У Набокова указательные знаки могут иметь вид безмолвных стрелок, вроде тех, что были мелом начерчены на стенах и воротах старых московских домов и не стирались, казалось, десятилетиями — с тех еще времен, когда казаков было не меньше, чем разбойников. Направление указано (откуда и куда ветер дует), но постороннему неизвестно, что, собственно, искать, неизвестна ценность искомого, неизвестен и самый смысл розысков. Чтение любой книги Набокова можно уподобить экспедиции с восхитительными приключениями по пути к изумительному месту назначения. Но требуются определенные навыки, и знания, и внимание. В важных местах повешены указательные знаки, тонкие и явные — надломанные веточки, стреловидные предметы, ариаднины паутинные нити, которые следопыт вдруг задевает лбом, флажки и даже нарисованные указующие персты, — но больше всего внимательному читателю помогает опытом приноровленное чутье, потому что при всем разнообразии искусства главные черты плана у зрелого Набокова повторяются из книги в книгу. И если, пройдя ее несколько раз из конца в конец (с каждым разом открывая новые клады), наученный опытом читатель станет на возвышенное место и охватит взором все ее пространство, со всеми ее наземными и подземными переходами, то узнает в ней новое изложение все той же философической системы, испытанной этим очередным художественным экспериментом и основанной на той предпосылке, что жизнь подчиняется некоторому осмысленному и правильному рисунку, смысл и правила которого открываются за ее пределом. В отношении к существованию героев книги читатель именно находится за этим пределом; в отношении же к существованию самого читателя (и сочинителя) — но здесь остановимся: этому послесловию тоже положен предел.

Оно никак не предназначено лишить кладоискателя острейшего удовольствия самостоятельных открытий при повторных экспедициях; ведь бывалый читатель знает, что даже самые трудные задачи Набокова имеют решение, на каждом уровне единственное. Но на одной загадке романа все-таки необходимо задержать внимание, потому что если в английском

подлиннике она очень трудна, то в переводе на русский оказывается неразрешимой. Речь идет о загадке названия.

Если выпустить массу подсобного материала (который можно найти в моем длинном истолковательном послесловии), дело сводится вот к чему. Книга под названием «The Real Life of Sebastian Knight» была необычайно быстро, за полтора или два месяца, написана в Париже и послана в конце января 1939 года на литературный конкурс в Англии, за день до срока, возможно под девизом или придуманным именем. В этом названии содержится ключ к образу и внутреннему значению повествования. Сводный брат героя как будто пишет его «истинную» (а не вымышленную по низким побуждениям) биографию; однако, доведя ее до конца, прежде чем поставить точку, он ставит под сомнение самое существование своего героя и, быть может, и свое собственное. Но как это часто бывает в книгах Набокова, выход из лабиринта приводит к входу — правда, этажом выше. Вход находится под названием, т. е. под именем героя повествования (которое потом появляется в первом или в последнем предложении в четырнадцати из двадцати глав романа, и главное, в его начале и в конце). Имя же это нарочито, потому что в России, где 18/31 декабря 1899 года он родился (на мученика Севастьяна), в семьях того круга и сословия, которым принадлежала семья повествователя и его единокровного брата (образованное дворянство), это имя в то время почти не встречается. Если бы по какой-то причине его выбрала англичанка мать, то причина эта была бы, конечно, помянута именно по указанной крайней редкости этого имени в русской благородной среде того времени. Набоков при желании мог бы, разумеется, выбрать любое из множества христианских имен в обычном употреблении в обоих языках, как то: Михаил, Андрей, Виктор и т. д. Однако ему нужен был именно Севастьян. Отчего? Что означает эта нарочитость? Но по-английски это имя — важная анаграмма и вместе **тамга**, тайное начертание, рукоприкладный знак мастера (по выражению Даля). **Sebastian Knight = Knight is absent**, т. е. Найт отсутствует, его нет^[12].

Эта-то «тайна Найта» и была, я полагаю, таможенным клеймом Набокова в книге, где полно и других криптограмм, иные из которых поясняются в примечаниях. «**Признаюсь, хорошо зашифрована ночь, но под звезды я буквы подставил**»^[13]. Как это понимать и что из этого следует, оставляю решать читателю; он, впрочем, может познакомиться с моим ни для кого не обязательным истолкованием, следующим за текстом романа. Здесь же

скажу только, что в последней своей книге «Смотри — арлекины!», тоже как будто написанной в первом лице (да не в первой руке), есть такой диегетический стишок: **The «I» of the book cannot die in the book**, что приблизительно значит, что «в сказании от первого лица рассказчик [хочешь-не хочешь] доживает до конца». А в «Отчаянии» (1936), где Герман все время бормочет себе под нос, что «**на свете счастья нет**, но есть покой и проч.», его будто бы двойника зовут **Феликс**, и, таким образом, в некотором смысле никакого двойника на свете нет, и книга переходит в другое измерение. Нечто подобное, возможно, происходит и в нашем романе. Свое рекламное предуведомление на обложке первого издания Вильсон (с которым Набоков был в то время коротко дружен) заканчивает странной фразой: «Внимательного читателя ждет [...] особенного рода сюрприз, раскрыть который было бы нечестно по отношению к автору». И вот я полагаю, что сюрприз ждет читателя в самом имени героя всамделишного жизнеописания, героя, которого там на самом деле может быть и нет. Кстати сказать, в самом этом имени содержится для переводчика книги на родной язык Севастьяна специфическая трудность. Как известно, греческая «бета» по крайней мере с ранневизантийских времен произносится греками, а за ними вслед и славянами, как «вита» (базилика — Василий, Барбара — Варвара и т. д.). Поэтому было бы и странно, и неправильно передавать буквально английское написание «Себастьян» именно в русском переводе (отчего бы тогда уж и не «Себастиан»): и оттого, что его ведь крестили Севастьяном; и оттого, что повествователь настойчиво подчеркивает непобедимое преобладание в своем брате русского начала; и оттого, наконец, что в этом имени таится (как я показываю здесь и подробнее в послесловии) зашифрованный ключ к решению одной из важнейших загадок книги, и только в русском написании, воспроизводящем инициал, под которым скрыт повествователь В., сохраняется отдаленная возможность аналогичной расшифровки. Я попытался было оставлять «бету» в тех местах, где С. упоминается нерусскими персонажами, но это привело к двойному путаному учету, и в конце концов я решил перевести английскую условность оригинала («б» без исключения) на русскую («в» везде). Заметьте, что в конце 19-й главы В. обращает внимание на то, что д-р Старов в телеграмме пишет имя Севастьяна по-русски, но конечно латинскими литерами, т. е. через «v». В конце книги, подробно пересказывая сюжет и устройство последнего романа Найта, его биограф В. приводит оттуда две фразы силлогизма: человек умирает; этот человек — книга. Синтезирующего суждения там не дается, ибо человек умер не успев прошептать своей всеразрешающей тайны

(третье лицо всегда умирает, первое — доживает до конца своей повести о нем). Но к этому времени даже не очень внимательный читатель заметит, что В., собирая материалы для его биографии, сам делается действующим лицом тех самых сочинений Севастьяна Найта, которые он одно за другим пересказывает (так что на миг перестаешь понимать, соседний ли поезд тронулся, твой ли, или сам ты). И когда, идя по горячему еще следу своего героя, повествователь превращается в героя этого последнего вымысла Найта, он сами синтезирует этот силлогизм, по буквам диктуя в приемном покое больницы английскую фамилию брата: к, н, и, г... — но Knight умер и унес свою тайну в могилу, — но может быть, Knight'a и не было, а в палате лежит какой-то Киган, и эта тайна Найта получает свое неожиданное оформление, если не разрешение, в последнем абзаце, в последнем предложении, даже в самых последних словах книги. Оказывается, пока попавший сюда впервые читатель глазел по сторонам, обоих братьев след простыл.

Геннадий Барабтарло

2/15 февраля 2007 г.

ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ СЕВАСТЬЯНА НАЙТА

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Севастьян Найт родился тридцать первого декабря 1899 года в бывшей столице моего отечества. Одна пожилая русская дама, которая по какой-то неведомой причине просила меня не открывать ее имени, как-то раз в Париже показала мне свой старый дневник. До того были, наверное, бедны событиями те годы, что накапливание ежедневных подробностей — что обычно бывает ненадежным способом самосохранения — сводилось к краткому описанию погоды за прошедший день; и тут любопытно отметить, что частные дневники коронованных особ большею частью бывают посвящены тому же предмету, каким бы невзгодам ни подвергались их владения. Случается, что везет, когда удачу не подстегиваешь, и то, что мне было показано, я сам ни за что бы не нашел, хоть бы нарочно пустился на розыски. А так могу сообщить, что утро, в которое Севастьян родился, было ясное и безветренное, что было двенадцать градусов мороза (по Реомюру)... впрочем, это и все, что добрая старушка нашла достойным записи. Собственно, не вижу причины сохранять ее имя в тайне — совершенно ведь невероятно, чтобы она когда-нибудь прочитала эту книгу. Ее звали, и продолжают звать, Ольгой Олеговной Орловой, и было бы жалко утаить эту овалообразную аллитерацию.

Не странствовавшему читателю сухой ее рапорт не передаст скрытой, но угадываемой прелести такого вот зимнего дня в Петербурге: чистая роскошь безоблачного неба, предназначенного не тело согреть, а только радовать зрение; по просторным улицам — блестящие колеи от санных полозьев на твердом насте, с тянущимся посередине изжелта-рыжим следом жирного конского навоза; связка ярких, разноцветных воздушных шаров, которыми торгует разносчик в фартуке; нежный очерк соборного купола, золото которого потускнело от морозной пыли; березы в городских садах, у которых каждая веточка обведена белилами; скрежет и звонки зимнего уличного движения... и кстати сказать, как странно, рассматривая старую видовую открытку (вроде той, что я поместил у себя на столе, чтобы на время занять младенца памяти), замечать, что русские извозчики поворачивали без всякого порядка, когда, где и как им вздумается, так что вместо прямолинейного, дисциплинированного потока современного

транспорта видишь на этой раскрашенной фотографии широченную как во сне улицу, где дрожки бегут во всех направлениях под немыслимо синим небом, краю которого машинально сообщается розовость трафаретного воспоминания.

Мне не удалось раздобыть снимка дома, где родился Севастьян, но я хорошо его помню, потому что и сам там родился шестью годами позже. У нас был общий отец, вторично женившийся вскоре после развода с матерью Севастьяна. Как ни странно, этот второй брак совсем не упомянут в книге Гудмана «Трагедия Севастьяна Найта» (вышедшей в 1936 году; мне еще придется подробнее на ней остановиться), так что для читателей книги Гудмана меня не существует, я какой-то вымышленный родственник, словоохотливый самозванец. Но сам Севастьян в самом автобиографическом своем сочинении («Забытые вещи») уделяет несколько добрых слов моей матушке, — и, полагаю, она их вполне заслужила. Несовсем верно и то, что, как писали британские газеты после смерти Севастьяна, его отец был убит на поединке в 1913 году; на самом деле он явно оправлялся от пулевого ранения в грудь и только через месяц схватил простуду, с которой его недолеченные легкие справиться не могли.

Храбрый воин, добросердечный, остроумный, веселого нрава человек, он в избытке обладал свойством азартной непоседливости, которая по наследству перекочевала в писания Севастьяна. Передают, что этой зимой на литературном завтраке в Южном Кенсингтоне один известный старый критик, которого я всегда уважал за его блестящий ум и эрудицию, заметил, когда разговор запорхал вокруг безвременной смерти Севастьяна: «Бедный Найт! В сущности, у него было два периода: сначала скучный человек писал на ломаном английском, а потом надломленный человек стал писать скучным слогом». Злая острота, злая тем более, что легко наговаривать на мертвого писателя за спиной его книг. Хочется верить, что воспоминание об этой шутке не доставляет радости шутнику, который обнаружил гораздо больше сдержанности, когда несколько лет тому назад рецензировал книгу Севастьяна Найта.

Тем не менее нельзя не признать, что в некотором отношении жизнь Севастьяна, хотя и далеко не скучная, была лишена колоссальной энергии его литературного стиля. Всякий раз, что я открываю какую-нибудь его книгу, я будто вижу порывисто входящего в комнату отца, с его особенной манерой распахивать настежь двери и немедленно хватать нужную вещь

или любимое существо. Мое первое воспоминание о нем неизменно одно, дух захватывающее: я взмываю с пола, не выпуская из руки свисающей половины игрушечного поезда, и моя голова оказывается в опасной близости к хрустальным подвескам люстры. Он со стуком ставил меня наземь так же внезапно, как подхватывал, или как проза Севастьяна внезапно сшибает читателя с ног, роняя его, потрясенного, в веселую бездну следующего сумасшедшего пассажира. К тому же иные из любимых отцовских острот цветут причудливым цветом в таких характерных Найтовых вещах, как «Альбинос в черном» или «Веселая гора», быть может, лучшим из его рассказов, прекрасном и удивительном и всегда напоминающем мне смеющегося во сне ребенка.

Мой отец, тогда молодой кавалергард, познакомился с Виргинией Найт во время отпуска за границей, если не ошибаюсь, в Италии. Их первая встреча была как-то связана с охотой на лисиц в Риме в начале девяностых годов, но не могу сказать, матушка ли моя говорила мне об этом, или я безотчетно припоминаю какой-то тусклый снимок из семейного альбома. Он долго за ней ухаживал. Она была дочь Эдуарда Найта, человека богатого и достойного; больше мне ничего о нем не известно, но судя по тому, что моя строгая и своенравная бабушка (помню ее веер, митенки, ее холодные белые пальцы) решительно противилась этому браку и, случалось, повторяла весь перечень своих возражений даже тогда, когда отец уже был женат в другой раз, я склонен заключить, что род Найтов (какой бы уж он там ни был) не совсем отвечал требованиям (что бы под этим ни подразумевалось) старой русской знати. Не уверен я и в том, что первый брак отца не противоречил каким-то образом уставу его полка; так или иначе, успех на военном поприще пришел к нему только во время японской войны, то есть уже после того, как жена оставила его.

Я потерял отца еще мальчиком, и только много позднее, в 1922 году, за несколько месяцев до своей последней, предсмертной операции, мать рассказала мне кое-что из того, что, по ее мнению, мне следовало знать. Отец мой не был счастлив в первом браке. То была странная женщина, беспокойное и беспечное существо, — но беспокойство это было другого, не отцовского рода. Он постоянно чего-то добивался и менял предмет своих усилий только достигнув желаемого. Она же двигалась неуверенно, взбалмошно и непоследовательно, то уклоняясь далеко в сторону от своей цели, то на полпути забывая о ней, как забывают зонтик в таксомоторе. Она по-своему была привязана к отцу — хотя это «по-своему» было весьма

своеобразно, мягко говоря, — и когда однажды ей пришло в голову, что она влюблена в другого (его имени отец так никогда от нее и не узнал), она бросила мужа и ребенка так же внезапно, как дождевая капля начинает катиться к кончику листа сирени. Этот вздрог покинутого листа, лишившегося своего сверкающего бремени, наверное, причинил отцу острую боль, и мне не хочется задерживаться воображением на том дне, когда в парижской гостинице за четырехлетним Севастьяном рассеянно присматривала недоумевающая няня, а отец заперся у себя в комнате, «в том особенном гостиничном номере, который так прекрасно подходит для постановки самых плохих трагедий: мертвые бронзовые часы (нафабранные усы двух часов без десяти минут) под стеклянным колпаком на зловещем камине, венецианское окно и муха, без толку мечущаяся меж кисеей и стеклом, образчик гостиничной писчей бумаги на выдавшем виды бюваре». Это из «Альбиноса в черном», фабула которого не имеет никакого отношения к этому именно несчастью, но в котором сохранилось дальнейшее воспоминание о детской тревоге на унылом отельном ковре, когда тебе нечего делать и время до странного раздается вширь, сбивается с пути, заваливается...

Война на Дальнем Востоке доставила отцу возможность той счастливой деятельности, которая помогла ему если не забыть Виргинию, то по крайней мере вернуть жизни смысл. Его напористый эгоизм был всего лишь формой мужественной энергии и оттого вполне соответствовал его щедрой по своей сути натуре. Должно быть, он считал постоянное уныние, не говоря уже о самоуничтожении, недостойным занятием, позорной капитуляцией. Когда в 1905 году он опять женился, ему, наверное, приятно было сознавать, что из поединка с судьбой он вышел победителем.

Виргиния объявилась снова в 1908 году. Она была неисправимой путешественницей, вечно в разъездах, и жила как у себя дома и в маленьком пансионе, и в дорогой гостинице, так что понятие дома у нее означало уют постоянных перемен. От нее Севастьян перенял эту странную, чуть ли не романтическую любовь к спальным вагонам и Большим Европейским Экспрессам, к «поскрипыванью обшитых полированным деревом стен, ночью, под синим колпаком; к протяжному вздоху тормазов на едва угадываемых станциях; к скользящей вверх кожаной с тиснением шторке, открывающей вид на платформу, на человека, везущего чемоданы на тележке, на молочный шар газового фонаря с мечущейся вокруг него бледной ночной бабочкой; к лязгу невидимого

молотка, проверяющего колеса; к плавному троганию с места в темноту; к промелькнувшему образу одинокой женщины, перебирающей серебристые вещицы в дорожном несессере на синем бархате освещенного купэ».

Она приехала норд-экспрессом в зимний день, без всякого предупреждения, и послала короткую записку с просьбой о свидании с сыном. Отец охотился на медведей в деревне, поэтому матушка без дальних слов отвела Севастьяна в «Европейскую», где Виргиния остановилась всего на один вечер. Там, в холле, она и увидела первую жену своего мужа, худенькую, угловатую женщину с маленьким подвижным лицом под огромной черной шляпой. Она подняла вуальку выше губ, чтобы поцеловать мальчика, и не успела прикоснуться к нему, как расплакалась, будто теплый висок Севастьяна был вместе источником и утешением ее горя. После чего она тотчас надела перчатки и принялась рассказывать моей матери на дурном французском нелепую и никчемную историю о какой-то польке, которая пыталась украсть в вагоне-ресторане ее сумочку с косметическими принадлежностями. Потом она сунула в руку Севастьяна фунтик засахаренных фиалок, улыбнулась моей матушке нервной улыбкой и пошла за швейцаром, выносившим ее чемоданы. Тем все и кончилось, а в следующем году она умерла.

От ее двоюродного брата Г. Ф. Стайнтон узнали, что в последние месяцы жизни она изъездила всю южную Францию, останавливаясь на день-другой в знойных захолустных городках, которые редко навещают туристы, — неприкаянная, одинокая (любовника своего она бросила) и, вероятно, очень несчастная. Можно было подумать, что она от кого-то или от чего-то бежала, ибо она возвращалась по своему же следу, или запутывала следы; с другой же стороны, тем, кто знал ее нрав, это суматошное метание могло показаться чрезмерным последним проявлением свойственной ей охоты к перемене мест. Она умерла от сердечного припадка (болезнь Лемана)^[14] летом 1909 года, в городишке Рокбрюн. Тело не без осложнений было переправлено в Англию; родственники ее все умерли еще прежде, и только г. Стайнтон присутствовал на ее похоронах в Лондоне.

Родители мои жили счастливо. Это был тихий и нежный союз, которого не могло омрачить злоречие иных наших родственников, нашептывавших, что отец, хотя и был любящим мужем, время от времени увлекался другими женщинами. Раз как-то под Рождество 1912 года одна его чрезвычайно милая подруга легкомысленно обмолвилась, когда они шли по Невскому,

что жених ее сестры, некто Пальчин, знал его первую жену. Отец сказал, что помнит его, они познакомились в Биаррице не то за десять, не то за девять лет перед тем...

— Да, но он и потом с ней встречался, — сказала она. — Он признался сестре, что жил с Виргинией после того, как вы расстались... Она потом бросила его где-то в Швейцарии... Забавно, что никто об этом не догадывался.

— Что же, — спокойно сказал отец, — коли это не вышло наружу прежде, незачем болтать об этом спустя десять лет.

По весьма несчастливому стечению обстоятельств на другой же день после этого капитан Белов, близкий друг нашей семьи, между прочим спросил отца, верно ли, что его первая жена родом из Австралии, — он, т. е. капитан, всегда считал ее англичанкой. Отец отвечал, что, сколько он знает, ее родители одно время жили в Мельбурне, но что она родилась в Кенте.

— Но отчего ты спрашиваешь? — прибавил он. Капитан отвечал уклончиво, что его жена была на каком-то рауте, где кто-то что-то сказал...

— Очевидно, придется положить этому конец, — сказал отец.

Наутро он посетил Пальчина, который принял его радушнее, чем того требовали приличия. Он сказал, что прожил много лет в чужих краях и рад возобновить старые знакомства.

— В обществе распускают грязную ложь, — сказал отец не садясь. — Полагаю, вы знаете, о чем идет речь.

— Послушайте, мой милый, — сказал Пальчин, — мне незачем притворяться, что я не вижу, куда вы клоните. Сожалею, что это сделалось предметом толков, но не станем же из-за этого горячиться... Никто ведь не виноват в том, что у нас с вами когда-то было немало общего...

— В таком случае, милостивый государь, — сказал отец, — я пришлю к вам моих секундантов.

Из рассказа матушки (приобретшего в ее изложении непосредственную живость, которую я здесь пытаюсь сохранить) мне было ясно, что Пальчин

был негодяй и дурак. Но именно оттого, что Пальчин был дурак и негодяй, мне трудно понять, как мог человек таких достоинств, какими обладал мой отец, рисковать жизнью, чтобы удовлетворить — и что же? задетую честь Виргинии? свою жажду мести? Но так же как честь Виргинии была безвозвратно потеряна самим фактом ее побега, всякая мысль о мщении должна была давно утратить свою горькую усладу за годы счастливого второго брака. Но, может быть, тут важно было просто названное имя, увиденное лицо, неожиданно фарсовый отпечаток чего-то личного на призраке, бывшем прежде ручным и безликим? И в конечном счете, стоил ли этот отзвук далекого прошлого (а эхо чаще всего отзывается лаем, каким бы чистым ни был голос кличущего) того несчастья, которое он принес в наш дом, и горя, которое он причинил моей матери? Стрелялись в метель на берегу замерзшей речки. Они обменялись выстрелами, и отец упал ничком на серо-голубую армейскую шинель, разостланную на снегу. Пальчин дрожащими руками закурил папиросу. Капитан Белов подозвал кучеров, смиренно дожидавшихся в отдалении на заснеженном тракте. Все это страшное дело заняло три минуты. В «Забытых вещах» есть собственные впечатления Севастьяна о том черном январском дне.

«Ни моя мачеха, — пишет он, — ни кто из домашних не знали о надвигавшемся событии. Накануне за обедом отец бросал в меня через стол хлебные катыши: я целый день дулся оттого, что доктор велел мне носить какую-то мерзкую шерстяную фуфайку, и отец пытался меня развеселить, но я нахмурился, покраснел и отвернулся. После обеда мы сидели в его кабинете; он пил свой кофе и слушал мачеху, которая говорила о вредном обычае французенки давать моему младшему сводному брату конфеты в постель; я же сидел на диване в дальнем углу комнаты и листал "Чамз"[\[15\]](#): "Ждите следующей главы этой сногшибательной истории". Шутки, напечатанные внизу больших, тонких страниц. "Почетного гостя, которому показывали школу, спрашивают: Что поразило вас сильнее всего? — Горошина, которой в меня выстрелили из трубочки". Курьерские поезда, с грохотом мчащиеся в ночной тьме. Игрок голубой крикетной команды[\[16\]](#), который отразил нож, брошенный свирепым малайцем в его друга... Уморительная серия комических картинок, изображавших трех подростков, один из которых был гуттаперчевый мальчик, умеющий вращать носом, другой фокусник, а третий чревоуещатель... Всадник, перескакивающий через гоночный автомобиль...

На другое утро в школе я никак не мог справиться с геометрической задачкой, на гимназическом языке именуемой "пифагоровыми штанами". Утро было такое темное, что в классной зажгли свет, отчего у меня всегда начинало ужасно звенеть в голове. Я пришел домой около половины четвертого с тем ощущением нечистоты, с которым всегда возвращался из школы и которое теперь еще усугублялось колючим бельем. В передней рыдал денщик отца».

ВТОРАЯ ГЛАВА

В своей кое-как состряпанной, пестрящей ошибками книжке Гудман уделяет всего несколько безтолковых фраз детским годам Севастьяна Найта, рисуя до смешного неверную картину. Одно дело служить секретарем у писателя, и совсем другое — описывать его жизнь; но когда на такое дело подвигает желание запустить свою книгу в продажу, покуда можно с выгодой поливать цветы на свежей еще могиле... нужно ли говорить, что коммерческая спешка несовместима с кропотливым, безпристрастным, благоразумным исследованием?! Я не собираюсь порочить ничьей репутации. Но не будет клеветой утверждать, что только неодолимая страсть щелкать клавишами ремингтона могла побудить г. Гудмана написать, что «мальчику навязали русское воспитание, несмотря на то что он всегда чувствовал в своих жилах мощный ток английской крови». Чуждое это влияние, продолжает Гудман, «доставляло ребенку острое страдание, и в более зрелые свои лета он с содраганием вспоминал бородачей-мужиков, иконы, брэнчание балалаек — вместо здорового английского воспитания».

Едва ли есть смысл отметить, что взгляд г. Гудмана на русский быт отстоит так же далеко от истинного положения вещей, как, скажем, представление калмыка об Англии как о мрачной стране, где учителя с рыжими бакенами до смерти засекают маленьких мальчиков. Следует только подчеркнуть, что Севастьян рос в высокоинтеллигентной среде, в которой сочетались свойственные русской семье духовные блага с первейшими сокровищами европейской культуры, и что какой бы сложностью и своеобразием ни отличалось отношение самого Севастьяна к своему русскому прошлому, оно никогда не опускалось на тот пошлый уровень, который воображает его биограф.

Помню как Севастьян мальчиком, на шесть лет меня старше, размашисто малевал что-то акварелью в неприхотливом ореоле солидной керосиновой лампы, у которой абажур розового шелка, казалось, был выкрашен его мокрой кистью — так ярко светится он в моей памяти. Вот вижу себя четырех или пяти лет от роду — стою на носках, вытягиваюсь, повожу

головой то туда, то сюда, чтобы за подвижным локтем единокровного своего брата разглядеть как следует коробку с красками; липкие красные и синие до того вылизаны и истрачены, что в их углубленьях уже виднеется эмаль. Всякий раз, что Севастьян мешает цвета на внутренней стороне железной крышки, слышится легкий перестук, а мутная вода в стакане перед ним вся в волшебных цветных разводах. Его темные, бобриком стриженные волосы позволяют видеть небольшое родимое пятно над пунцовым прозрачным ухом (я теперь залез на стул), но он по-прежнему не обращает на меня внимания, пока я рискованным и резким движением не пытаюсь умакнуть кисточку в самое синее корытце в коробке, и тогда он отпихивает меня плечом, все так же не поворачиваясь, по-прежнему ни слова не говоря и не приближаясь, как оно и всегда у него бывало в обращении со мной. Помню как я глядел через перила, когда он шел вверх по лестнице, вернувшись из школы, в черной гимназической блузе с кожаным ремнем (о котором я втайне мечтал), медленно поднимаясь, сутулясь, таща за собою пегую сумку, перехватывая перила и то и дело перескакивая через две или три ступени. Я вытягиваю губы, выдавливаю белый плевок, который падает все ниже да ниже, но всегда мимо Севастьяна; и делаю я это вовсе не для того, чтобы ему напакостить, а просто из унылого и тщетного желания заставить его заметить мое существование. Мне тоже живо вспоминается, как он едет на велосипеде с очень низко посаженным рулем по испещренной солнечными пятнами дорожке парка в нашем имении, медленно катя, не вертя педалями, а я бегу позади, немного поддавая, когда его нога в сандалии нажимает на педаль; я изо всех сил стараюсь не отставать от заднего колеса, издающего тикающий и шипящий звук, но он не обращает на меня внимания и скоро оставляет меня безнадежно далеко позади, едва дышащего, но все еще семенящего вослед.

Позже, когда ему было шестнадцать лет, а мне десять, он иногда помогал мне готовить уроки, объясняя так быстро и нетерпеливо, что из его помощи никогда ничего не выходило, и скоро он клал карандаш в карман и уходил из комнаты. В то время он был долговяз, с изжелта-бледным лицом и с темной тенью над губой. Его волосы теперь были разделены на блестящий пробор, и он писал стихи в черной тетради, которую запирали в ящик стола.

Однажды я обнаружил, где он прятал ключ (в щели в стене возле голландской печки в его комнате) и открыл этот ящик. Там лежала эта тетрадка, а еще фотография сестры его одноклассника, несколько золотых и

кисейный мешочек с фиалковыми конфетками. Стихи были английские. Незадолго до смерти отца к нам домой приходили давать уроки английского, и, хотя я так никогда и не выучился свободно говорить на этом языке, читаю и пишу я на нем довольно легко. Смутно припоминаю, что стихи были весьма романтические — все темные розы, да звезды, да зов моря; но одна подробность совершенно ясно запала в память — под каждым стихотворением вместо подписи стоял чернилами нарисованный маленький черный шахматный конь.

Я пытался воспроизвести связный образ своего единокровного брата в мои детские годы, между, допустим, 1910 годом (когда у меня впервые пробудилось сознание) и 1919-м (когда он уехал в Англию). Но мне это не удалось. Образ Севастьяна не участвует в моем отрочестве и оттого не может подвергнуться безконечному отбору черт в их развитии; не является он мне и в веренице знакомых зрительных впечатлений, но скорее в виде нескольких ярких пятен, как если бы он был не постоянным членом нашей семьи, а каким-то случайным гостем, проходящим через освещенную комнату и потом надолго растворяющимся в ночи. Объясняю я это не столько тем, что детские мои интересы не способствовали серьезным отношениям с не-сверстником, который был и не довольно юн, чтобы быть мне товарищем в играх, но и не настолько старше меня, чтобы быть наставником, — сколько холодностью, с которой Севастьян постоянно держал себя, и хотя я его нежно любил, но мое чувство по этой причине не находило себе ни признания, ни пищи. Я мог бы, пожалуй, описать, как он ходил, как смеялся или чихал, но это было бы все равно что взять ножницы и разрезать кинематографическую ленту на части, у которых с подлинной драмой не было бы ничего общего. А что тут была драма, в том не может быть сомнений. Севастьян не мог забыть матери никогда того, что отец погиб из-за нее. Ее имя никогда не произносилось в нашем доме, но это только прибавляло болезненной прелести удержанному в памяти чарующему образу, владевшему его впечатлительной душой. Не знаю, могли ли он сколько-нибудь ясно помнить то время, когда она еще была женой отца; может быть, и мог — как некое мягкое свечение на заднем плане жизни. Не могу передать и того, что он чувствовал, когда девятилетним мальчиком снова увидел свою мать. Моя же рассказывала, что был он вял, говорил крайне мало и потом уже никогда не упоминал об этой краткой, жалкой, неполноценной встрече. В «Забытых вещах» Севастьян дает понять, что было у него чувство некоторой досады оттого, что отец был счастлив во втором браке, но оно уступило место восторженному

поклонению, когда он узнал о причине рокового поединка отца.

«С открытием Англии, — пишет Севастьян ("Забытые вещи"), — мои заветнейшие воспоминания зажили новой жизнью... После Кембриджа я поехал на континент и недели две тихо прожил в Монте-Карло. Там как будто есть какое-то игорное заведение — азартные игроки и проч., — но если и так, то я его не видал, потому что почти все время сочинял первую свою книгу — довольно претенциозный роман, в печатании которого мне, к счастью, отказало столько же издателей, сколько было потом читателей у следующей моей книги. Как-то раз я отправился в дальнюю прогулку и очутился в городишке под названием Рокбрюн. А мать моя умерла как раз в Рокбрюне за тринадцать лет перед тем. Я отлично помню день, когда отец сказал мне о ее смерти и назвал пансион, где она скончалась. Он назывался "Les Violettes". Я спросил какого-то шоффера, известно ли ему такое заведение, но он не знал. Тогда я спросил фруктовщика, и тот указал мне дорогу. Я вышел наконец к розоватого цвета вилле, с характерными для Прованса круглыми красными черепицами кровли, и обратил внимание на пучок фиалок, неумело намалеванный на воротах. Так вот он, этот дом. Я прошел через сад и поговорил с хозяйкой. Она сказала, что пансион только недавно перешел к ней от прежнего владельца и она ничего о прошлых постояльцах не знает. Я попросил позволения посидеть в саду. Какой-то старик — голый во всяком случае до пояса, сколько я мог видеть, — разглядывал меня с балкона, а больше никого вокруг не было. Я сел на голубую скамейку под гигантским эвкалиптом, у которого кора наполовину облезла, как оно, по-моему, всегда и бывает у этого дерева. Потом я попробовал увидеть розовый дом, и дерево, и весь облик этого места, каким его видела мать. Пожалел, что не знаю окна ее комнаты. Судя по названию виллы, я был уверен, что перед ее глазами была эта же самая клумба фиолетовых анютиных глазок. Мало-помалу я довел себя до такого состояния, что и розовый колер, и зеленый, казалось, на краткое мгновение замерцали и поплыли как бы в легкой дымке. В неясном, тонком очертании мать, в большой шляпе, медленно взошла по ступеням, которые словно растворялись в воде. Сильный глухой шмяк заставил меня очнуться. Из бумажного кулька, лежавшего у меня на коленях, выпал апельсин. Я подобрал его и пошел из сада. Спустя несколько месяцев мне случилось встретить какого-то из ее двоюродных. Вышло так, что за разговором я упомянул о своем посещении места, где она умерла. "Ах нет, — сказал он, — это другой Рокбрюн; тот — в Варе"».

Интересно отметить, что Гудман, приводя этот же пассаж, довольствуется следующим замечанием:

«Севастьян Найт до такой степени склонен был видеть нелепую сторону вещей и до того неспособен задуматься над их серьезной сутью, что, не будучи по натуре своей человеком ни черствым, ни циническим, он здесь подвергает насмешке интимнейшие чувства, которые все остальное человечество справедливо полагает священными».

Удивляться ли после этого, что сей велеречивый биограф поминутно попадает пальцем в небо.

По уже упомянутым причинам не стану и пытаться описывать детство Севастьяна в систематической последовательности, которой я держался бы, если бы Севастьян был героем вымышленного повествования, — тогда я мог бы надеяться предоставить читателю сведения как полезные, так и увлекательные, рисуя картину постепенного возрастания моего героя от младенчества до юношеских лет. Но если бы я попробовал применить этот способ к Севастьяну, то вышла бы очередная «романизированная биография» — из всех литературных жанров самый жалкий. Поэтому пусть дверь останется затворенной, но чтобы под нею была еще тонкая, туго натянутая полоска света; и пусть потухнет и эта лампа — в соседней комнате, где Севастьян лег спать; пусть чудесный, оливкового цвета дом на набережной Невы постепенно погасает в сизеющей морозной ночи, где снежные хлопья мешкают в своем тихостном падении, оказавшись в лунно-белом ореоле высокого уличного фонаря, и порошат могучие конечности двух брадатых атлантов, подпирающих эркер комнаты отца. Отец мой умер, Севастьян спит, во всяком случае, затих как мышь в смежной комнате, а у меня сна ни в одном глазу, и вот лежу, уставясь в темноту.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)